
Пекарня в Чухломе
Дело о пропавшем критике
Фестиваль хлеба
Кому: Чухлома
№ 17
1984 г.
?

Пекарня в Чухломе

Милана Панова

Пекарня в Чухломе. Дело о пропавшем критике

«Автор»
2026

Панова М.

Пекарня в Чухломе. Дело о пропавшем критике / М. Панова — «Автор», 2026 — (Пекарня в Чухломе)

Первый фестиваль хлеба в Чухломе. Председатель жюри — Эдуард Кривцов по прозвищу Мясник, самый злой ресторанный критик Москвы. В первый же день он обещает уничтожить «провинциальную сказку» знаменитой пекарни. А наутро исчезает из запертой изнутри комнаты. Окно открыто, телефон на тумбочке, а на подушке — ржаной каравай с печатью пекарни.Полиция подозревает хозяйку пекарни. Но у рыжей почтальонши Люськи свои методы: она знает о городе всё, потому что через её руки проходит каждое письмо. В помощниках — старый кот Батон, у которого лучший нос в Костромской области, и болтливый котёнок Сухарик. А строгий следователь из Галича не верит ни в говорящих котов, ни в почтальонш. Пока что.Ложные следы, ночная тачка с брезентом, вор в подвале, которого поймало тесто, и тайна сорокалетней давности, спрятанная в старом почтовом журнале.Уютный детектив без трупов — о прощении, о хлебе и о письмах, которые доходят. Иногда через сорок лет. Читать можно отдельно от предыдущих книг серии.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Почтальонша знает всё 6
Глава 2. Мясник пробует хлеб 11
Глава 3. Каравай на подушке 16
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Милана Панова
Пекарня в Чухломе. Дело о пропавшем критике

Пекарня в Чухломе
Часть пятая
Дело о пропавшем критике

Глава 1. Почтальонша знает всё

Люська Рыжова знала о Чухломе всё. Не потому, что подслушивала, — подслушивать ей было некогда, — а потому, что была почтальоншей.

Почта — это не только газеты и пенсии. Почта — это нервная система маленького города. Через Люськины руки проходило всё: открытки, квитанции, посылки, повестки, письма из колоний и из Израиля, бандероли с семенами из «Садов России», коробки с маркетплейсов, на которых крупно написано, что внутри. Люська никогда не вскрывала чужих писем. Никогда. Но она умела читать конверты, как гадалка читает ладонь.

Если Нина Петровна, глава района, получала третью за месяц бандероль из интернет-магазина косметики — значит, в семье всё хорошо и муж-фотограф её по-прежнему любит. Если айтишники с Затонной вдруг выписали «Справочник печника», — значит, опять что-то затеяли с хлебом и скоро будет вызов пожарных. Если бабе Шуре из Сопырёва перестали приходить письма от сына из Мурманска — значит, надо зайти, посидеть, выпить чаю и как бы между прочим спросить, звонил ли.

Люське было двадцать семь лет. Она была рыжая — по-настоящему, до морковного цвета, с веснушками даже на ушах, — носила синюю форменную куртку с эмблемой «Почты России», которую ушила себе по фигуре в Асиной мастерской, и ездила на велосипеде с толстыми шинами. Зимой и летом. В метель и в ливень. Велосипед звали Буцефал. Так его назвал айтишник Денис с Затонной — сказал, что это был конь Александра Македонского, который возил его по всей Азии. Люська подумала и решила, что подходит.

В последнюю неделю августа Буцефал развозил по Чухломе в три раза больше обычного.

— Фестиваль, — сказала Люська сама себе, затаскивая велосипед на крыльцо отделения в половине восьмого утра. На крыльце уже стояли четыре коробки — огромные, тяжёлые, с наклейками «ОСТОРОЖНО, СТЕКЛО» и «ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА — СРОЧНО». — Фестиваль, будь он неладен.

* * *

Фестиваль придумала Нина Петровна. Ещё зимой.

После той истории с Пахомом, тётей Галей и водяным — о ней по всем каналам говорили, приезжали журналисты, Римма Аркадьевна из галичского загса давала интервью программе «Пусть говорят», правда, интервью так и не показали, — после всего этого в Чухломе стало столько туристов, что Нина Петровна поняла: надо пользоваться. И объявила: «Всероссийский фестиваль хлеба "Чухломской каравай"». На Третий Спас. Двадцать девятого августа.

Третий Спас в народе звали по-разному. Ореховый — потому что орехи поспевают. Хлебный — потому что из нового урожая пекут первые караваи. А ещё — Холщовый. На Третий Спас в старину открывались ярмарки холстов и льна, бабы приносили на торг всё, что наткали за зиму. Ася, узнав об этом, чуть не прыгала до потолка: её мастерская «Поля» готовила к фестивалю целую ярмарку — скатерти, рубахи, полотенца, сарафаны из судайского льна.

Пекари съезжались со всей страны. Из Костромы, Ярославля, Вологды. Из Москвы и Петербурга. Из Казани — татарская пекарня с эчпочмаками и чак-чаком. Из Галича — хлебозавод, у которого с Чухломой были какие-то давние счёты, о которых Люська знала только в общих чертах, но собиралась узнать подробнее. Сорок две пекарни подали заявки. Отобрали двенадцать. Варина пекарня шла вне конкурса — как хозяйка праздника.

А председателем жюри Нина Петровна позвала Кривцова.

Люська, когда узнала, присвистнула.

Эдуарда Кривцова знали все, кто хоть раз в жизни открывал ресторанный раздел какого-нибудь московского журнала. Ему было под шестьдесят. Он писал о еде тридцать лет — зло, остроумно, беспощадно. Его рецензии читали, как читают фельетоны. После его разгром-

ных статей закрывались рестораны. Один шеф-повар, говорили, после «Кривцова» уехал из Москвы в Таиланд и больше не вернулся. Кривцов называл модные пекарни «храмами переоценённого теста», а фермерские рынки — «ярмаркой тщеславия с укропом». У него был канал на два миллиона подписчиков и прозвище — Мясник.

— Зачем? — спросила Люська у Нины Петровны в марте, когда принесла ей очередную бандероль с кремами. — Зачем его-то? Он же всё обгадит.

Нина Петровна поправила причёску.

— Потому что если он похвалит, — сказала она, — к нам вся Москва приедет. А если обгадит — тоже приедет. Посмотреть, что он обгадил. — Она вздохнула. — Это, Людмила, называется маркетинг. Мне Арсений объяснял.

Люська тогда подумала, что Арсений, бывший блогер Вкусов, в маркетинге, наверное, понимает. Но в людях — не всегда.

* * *

Утренний маршрут Люська знала наизусть. Сначала — Советская. Потом — Калинина. Потом — Затонная. Потом — через площадь к администрации, потом к льнозаводу, потом — к озеру.

На Советской в этот день было не протолкнуться. Через всю улицу уже натянули гирлянды из флажков — льняных, голубых и белых, Ася с девчонками шили их две недели. У торговых рядов рабочие ставили шатры. Пахло свежей краской, сосновыми досками и — как всегда на Советской — хлебом. Из пекарни.

Люська притормозила у крыльца пекарни.

Очередь в этот час уже стояла — человек тридцать, половина приезжие. На чёрной грифельной доске у двери было написано мелом, как всегда: «Хлеба — сколько есть. Не хватило — приходите завтра. Хлеб не убежит». А ниже, мелкими буквами, приписка, которую Люська раньше не видела:

«Во время фестиваля — тоже сколько есть. Хоть вы из Москвы. Хоть вы из жюри».

Люська хмыкнула. Варя, значит, тоже знала, кто едет.

Она зашла с чёрного хода, как всегда, — почтальонам можно. В подсобке пахло так, что кружилась голова: ржаным, тёплым, кислым, тмином, мёдом. Варя стояла у прилавка, отпускала хлеб. Рядом с ней, на высоком детском стульчике, сидел Савва. Савве был год и девять месяцев. Он говорил уже слов тридцать, но любимым по-прежнему было первое — «Ба!», — которым он называл Батона, бабушек, батоны и вообще всё, что ему нравилось.

— Ба! — сказал Савва, увидев Люську.

— И тебе ба, — сказала Люська. Положила на край прилавка пачку писем. — Варь. Тебе. Три счёта, один журнал «Хлебопечение», одно из Костромы, из налоговой — не бойся, тонкое, значит, не штраф. И вот.

Она положила сверху ещё конверт. Плотный, белый, дорогой, с тиснёным логотипом.

— Это от организаторов, — сказала Люська. — От Нины Петровны. Но печать не её. Это из Москвы переслали. Видишь — штемпель московский. Кривцов, наверное. Райдер.

— Какой ещё райдер? — не поняла Варя.

— Райдер — это когда звёзды пишут, что им в номер поставить, — объяснила Люська. — Мне Денис рассказывал. Одна певица требовала, чтобы в номере были только белые розы и вода «Эвиан» комнатной температуры.

Варя вскрыла конверт. Прочитала. Подняла брови.

— «Эдуард Андреевич просит, чтобы во время пребывания в Чухломе ему не подавали хлеб, — прочитала она вслух. — Ни в каком виде. Ни к завтраку, ни к обеду. Эдуард Андреевич будет пробовать хлеб исключительно на конкурсной дегустации».

Варя опустила письмо.

Люська посмотрела на неё. Варя — на Люську.

— Председатель жюри хлебного фестиваля, — медленно сказала Люська, — не ест хлеб.

— Получается так.

— Странно, — сказала Люська.

На прилавке, в углу у окна, кто-то пошевелился.

Там лежал Батон. Рыжий, огромный, круглый, как каравай, с белыми усами и с голубой атласной лентой на шее, завязанной бантом. Батону было сто двадцать три года. Это знала вся Чухлома, и это уже давно никого не удивляло. Ещё он разговаривал. Это тоже знала вся Чухлома. Туристам он, правда, отвечал редко — говорил, что не нанимался.

Рядом с ним, вытянувшись во всю длину, дремал Сухарик — молодой дымчатый кот с белой манишкой и огромными ушами. Сухарик тоже разговаривал. Он научился этому прошлой весной, свалившись к Опаре в дежу, и с тех пор, по выражению Батона, «никак не мог наговориться». Слов у него было уже сотни три, и он использовал их все, без разбора и без остановки.

Батон открыл один глаз.

— Не странно, — сказал он. — Ничего странного. Человек хлеб не ест — значит, боится.

— Чего боится? — спросила Люська.

— Хлеба, — сказал Батон. И закрыл глаз.

— Хлеба? — Сухарик проснулся и сел. — Хлеба боятся? Разве хлеба боятся? Хлеб же вкусный! Хлеб же тёплый! Я никогда не боялся хлеба! Я в него падал! Батон, а ты боялся хлеба? А Опара боится хлеба? Она же сама хлеб…

— Сухарик, — сказал Батон, не открывая глаз.

— Что?

— Помолчи.

Сухарик помолчал. Ровно четыре секунды. Люська считала.

* * *

Кривцов приехал в три часа дня. Не на машине — на поезде до Галича, а оттуда на такси Толика. Люська видела, как синяя «Лада» Толика остановилась у бывшего гостевого дома тёти Гали — теперь его держал Виталик с невестой Соней, той самой айтишницей из Москвы, — и как из машины вышел человек.

Люська ожидала увидеть кого-то другого.

По телевизору и на фотографиях Кривцов был огромный. Широкоплечий. В очках в толстой оправе. С бородой. С громким голосом и хищной улыбкой. А вживую — из «Лады» вышел худой высокий человек в светлом льняном пиджаке. Немолодой, седой, с коротким ёжиком волос и с аккуратной седой бородкой. Без очков. Лицо — узкое, бледное, с резкими скулами, как будто вырезанное из дерева. Он вышел, поставил на землю чемодан — маленький, кожаный, дорогой — и остановился.

И посмотрел на улицу.

Люська стояла через дорогу, у почтового ящика, с сумкой на плече. Она видела его лицо. И на долю секунды — может быть, на полсекунды — ей показалось, что лицо это дрогнуло. Как будто человек увидел что-то, чего не ожидал увидеть. Или — ожидал, но надеялся, что не увидит.

Потом лицо снова стало каменным.

Толик вытащил из багажника второй чемодан. Кривцов расплатился, не глядя. Толик сказал: «Добро пожаловать в Чухлому, Эдуард Андреевич! Если что — звоните, номер на визитке, а у нас тут кот говорящий, вы видали?» Кривцов ничего не ответил. Взял чемоданы и ушёл в дом.

Толик подошёл к Люське. Почесал затылок.

— Слышь, Люсь, — сказал он. — Чудной какой-то. Всю дорогу молчал. Пятьдесят километров — ни слова. А на сорок втором, где лось главу района боднул, вдруг говорит: «Здесь

раньше поворот был. На Сосновку». Я говорю — был, лет двадцать назад зарос. А он — ничего. Отвернулся.

— На Сосновку? — переспросила Люська.

— На Сосновку. — Толик пожал плечами. — Там ж ничего нет давно. Детдом был. Закрыли в двухтысячных. Откуда москвичу про Сосновку знать?

Люська ничего не ответила. Но в голове у неё что-то щёлкнуло, как щёлкает замок почтового ящика.

* * *

К пекарне Кривцов пришёл в шесть вечера. Один.

Хлеба уже не было — Варя закрывалась в два. В зале сидел Антон, бывший юрист, а теперь бухгалтер пекарни, с амбарной книгой и калькулятором. Варя мыла пол. Савва спал в конторе. Батон лежал на прилавке. Сухарик — рядом.

Люська оказалась там случайно. То есть почти случайно. Она занесла Антону квитанцию, которую забыла утром, и задержалась поболтать. А тут — колокольчик над дверью.

Кривцов вошёл. Остановился на пороге.

Огляделся. Цепко. На лепной карниз с колосьями. На белый кафель с синей каймой. На резной дубовый прилавок. На полки — пустые, только крошки. Люська видела, как он смотрит. Не как турист — турист смотрит восхищённо или равнодушно. Не как критик — критик смотрит оценивающе. Он смотрел как человек, который пришёл в дом, где когда-то жил, и проверяет, что изменилось.

— Закрыто, — сказал Антон, не поднимая глаз. — Хлеба нет. Завтра к восьми.

— Я не за хлебом, — сказал Кривцов.

Голос у него был негромкий, сухой, чуть надтреснутый. Совсем не такой, как в его видео, — там он говорил звонко и с издёвкой.

Варя выпрямилась со шваброй в руках.

— Эдуард Андреевич? — спросила она.

— Он самый. — Кривцов прошёл к прилавку. Положил на него ладонь. Провёл по резному краю. Колосья. Виноградная лоза. Птички с раскрытыми клювами. — Дуб, — сказал он. — Резьба ручная. Конец девятнадцатого века. Мастер — купеческий, не крестьянский: крестьяне птиц так не режут. — Он убрал руку. — Красиво. Как в музее.

— Это не музей, — сказала Варя.

— Вот именно, — сказал Кривцов. — Это хуже. Это — декорация.

Антон медленно поднял голову от амбарной книги.

— Я посмотрел все ваши материалы, Варвара Андреевна, — продолжал Кривцов ровно, будто зачитывал. — Все сюжеты. Все статьи. Все ролики. «Хлеб, который мирит». «Хлеб, от которого говорят правду». «Пекарня, где оживают мечты». Говорящий кот. Закваска с девятьсот восьмого года. Водяной, у которого старушка выменяла жениху голос. — Он чуть улыбнулся. Улыбка была неприятная. — Я тридцать лет пишу о еде. Я знаю, как это делается. Это называется сторителлинг. Берётся обычный хлеб, хороший, не спорю, — и к нему пришивается сказка. И люди платят за сказку. Едут за пятьсот километров. Стоят в очереди. Плачут.

— Люди плачут не от сказки, — сказала Варя. Тихо.

— Люди плачут от того, что им велели плакать, — сказал Кривцов. — Я приехал написать правду. О вашей пекарне. О вашем городе. О вашем фестивале. — Он посмотрел на неё. Глаза у него были серые, светлые, холодные. — И я напишу. Это будет хорошая статья, Варвара Андреевна. Её прочитают. После неё сюда перестанут ездить за сказкой. Будут ездить за хлебом. Если он того стоит.

Варя стояла со шваброй. Лицо у неё побелело.

Люська у двери сжала кулаки. Ей очень хотелось сказать этому человеку что-нибудь. Много чего. Но она не знала, что именно, и поэтому молчала.

А Батон на прилавке поднялся.

Медленно. Тяжело. Как поднимается старик с кресла. Встал на все четыре лапы. Потянулся — сначала передними, потом задними. Голубой бант на шее съехал набок. Потом пошёл по прилавку. К Кривцову. Неторопливо, переваливаясь. Остановился прямо перед ним — в полуметре от его руки.

Кривцов посмотрел на кота. Чуть насмешливо.

— А вот и говорящий кот, — сказал он. — Ну. Скажи что-нибудь. Для статьи.

Батон не ответил. Он вытянул шею и понюхал руку Кривцова. Тщательно. Пальцы. Костяшки. Запястье. Рукав льняного пиджака.

Потом сел. Обвил лапы хвостом. Поднял голову. И посмотрел Кривцову в лицо — янтарными глазами с золотым ободком.

— Здравствуй, Эдька, — сказал Батон.

Кривцов отдёрнул руку. Так резко, что задел локтем подставку для салфеток, и она упала на пол.

Тишина в зале была такая, что Люська услышала, как в конторе посапывает Савва.

— Подрос, — сказал Батон. — Поседел. А пахнешь так же. Киселём из детдомовской столовой. Хлоркой. И страхом.

Кривцов смотрел на кота. Лицо у него было белое, как льняная скатерть. Губы шевельнулись — беззвучно. Люська, стоявшая у двери, не могла прочитать по губам. Но ей показалось, что он сказал: «Не может быть».

Потом Кривцов повернулся. И пошёл к двери. Быстро. Не оглядываясь. Мимо Люськи — так близко, что она почувствовала запах его одеколона, дорогого, древесного, и под ним — что-то ещё. Что-то кислое и старое. Как пахнет в пустых казённых коридорах.

Колокольчик над дверью звякнул.

Варя стояла со шваброй. Антон — с калькулятором. Люська — у двери.

— Батон, — сказала Варя. — Ты… Ты его знаешь?

Батон лёг. Положил голову на лапы. Отвернулся к окну.

— Знал, — сказал он. — Давно. Когда в подвале сидел. Пятерых он мне к решётке водил. Малышей. Чтоб я им сказку рассказал. Сам не верил, что я говорю, — а малышам врал, что говорю. А я и правда говорил. — Батон закрыл глаза. — Я тогда мало с кем говорил. А с ними говорил.

— Что ж ты… — Варя опустила швабру. — Что ж ты сразу не сказал?

— А ты не спрашивала, — сказал Батон. — Никто не спрашивал. Сорок лет.

Сухарик рядом с ним открыл глаза. Огромные, зелёные, полные вопросов.

— Батон! — сказал он. — Батон, а кто такой Эдька? А почему он испугался? А почему он пахнет киселём? Я никогда не нюхал кисель! Какой он? Он вкусный? А почему…

— Сухарик, — сказал Батон.

— Что?

— Помолчи.

Сухарик помолчал. На этот раз — целых шесть секунд.

А Люська стояла у двери и смотрела в окно. На Советскую. На гирлянды из голубых флажков. На длинную худую фигуру в светлом льняном пиджаке, которая быстро уходила прочь — не к гостевому дому, а в другую сторону. К озеру.

И в голове у неё снова что-то щёлкнуло. Громче, чем в первый раз.

«Здесь раньше поворот был. На Сосновку».

Глава 2. Мясник пробует хлеб

Фестиваль открыли двадцать седьмого августа, в десять утра, на площади у торговых рядов.

Люська пришла к девяти — посмотреть, как всё собирают, и заодно разнести по шатрам телеграммы. Да, телеграммы. Кто-то из пекарей до сих пор слал телеграммы — казанские Хабибуллины, например, отправили сами себе из Казани в Чухлому поздравление с открытием, «для настроения», и Люська торжественно вручила его Ринату Хабибуллину прямо у его шатра, где пахло жареным тестом, мёдом и топлёным маслом так, что у неё свело живот.

— Попробуй, — сказал Ринат, протягивая ей на салфетке кусок чак-чака. Ему было лет пятьдесят, он был круглый, усатый и улыбался так, будто встретил родную сестру. — Попробуй, кызым. Бесплатно. Тебе — бесплатно. Ты телеграмму принесла.

Люська попробовала. Чак-чак таял во рту.

— Божественно, — сказала она с набитым ртом.

— Гульнара! — крикнул Ринат в глубину шатра. — Слышала? Божественно! Почтальонша сказала! Почтальонша всё знает!

Из шатра выглянула Гульнара — маленькая, в цветастом платке, с руками в муке по локоть. Посмотрела на Люську. Улыбнулась.

— Почтальонша всё знает, — согласилась она. — Это правда. У нас в Казани тоже почтальонша всё знает. Про всех. Даже про то, что ты сам про себя не знаешь.

Люська засмеялась. И пошла дальше. Но запомнила.

* * *

Шатров было двенадцать. Белые, с голубыми льняными флажками, они стояли полукругом на площади. В центре — помост для жюри, длинный стол под льняной скатертью, вышитой колосьями. Сёстры Кукушкины вышивали её два месяца.

Люська обходила шатры, раздавала почту и смотрела. Это у неё была профессиональная привычка — смотреть.

Костромичи — молодые ребята с бородами и в фартуках из крафтовой бумаги — пекли чиабатту и фокаччу с розмарином. Вологодские — две пожилые сестры в кокошниках — привезли ржаные сканцы с пшённой кашей. Петербуржцы — серьёзный мужчина в очках и его жена — выставили багеты, такие длинные, что они торчали из корзин, как шпаги. Ярославская пекарня привезла пряники.

А в шатре номер семь стояли галичские.

Люська притормозила у шатра.

Хлебозавод «Галичанка». Вывеска — синяя, советская ещё по шрифту, хоть и новая. Хлеб — обычный, магазинный на вид, кирпичики, батоны, «Бородинский» в пакетах с логотипом. Две продавщицы в белых халатах. А в глубине шатра — женщина. Лет пятидесяти. Высокая, крупная, с короткой стрижкой, с крупными руками. В деловом костюме, совершенно не подходящем к хлебному шатру. Она стояла, сложив руки на груди, и смотрела на помост жюри. Не мигая.

— Тамара Сергеевна, — сказала Люська, протягивая ей конверт. — Вам. Из Галича переслали.

Женщина взяла конверт. Не глядя.

— Липатова, — сказала она. Не Люське — себе. — Тамара Сергеевна Липатова. Директор хлебозавода «Галичанка». А десять лет назад — владелица пекарни «Липа» на Патриарших. Лучшей ржаной пекарни в Москве. — Она повернулась к Люське. — Знаешь, что с ней стало?

— Нет, — честно сказала Люська.

— Он пришёл, — сказала Липатова. И кивнула на помост. Там как раз поднимался Кривцов — в светлом льняном пиджаке, с блокнотом. — Он пришёл. Съел кусок. И написал: «Хлеб в "Липе" подходит для того, чтобы забивать им гвозди. Владелица, видимо, путает ржаной хлеб с кирпичом». Через три месяца я закрылась. Долги. Кредиты. Муж ушёл. Вернулась в Галич — больше было некуда. На хлебозавод, технологом. Через семь лет стала директором.

Люська не знала, что сказать.

— А теперь он приехал сюда, — сказала Липатова. — Судить. Меня. Опять.

Она смотрела на Кривцова. И Люське вдруг стало неуютно от её взгляда. Совсем неуютно.

* * *

Был ещё один человек, которого Люська заметила.

Молодой, лет тридцати, в дорогих белых кроссовках, в джинсах, в тёмно-синем пиджаке поверх футболки. Гладко выбритый, с модной стрижкой, с бейджем на шее: «Станислав Белкин. Хлебный дом "Колосок". Развитие». Он ходил между шатрами, всем улыбался, со всеми фотографировался, всем раздавал визитки. Люське тоже дал.

— Сеть пекарен «Колосок», — сказал он. — Триста точек по России. Слышали?

— Слышала, — сказала Люська. У них в Галиче открылся «Колосок» в прошлом году. Багеты там были мягкие, как поролон.

— Мы ищем партнёров, — сказал Станислав, сияя. — Аутентичные рецептуры. Региональные бренды. Душевные истории. — Он мотнул головой в сторону Советской, где из трубы над красной кирпичной пекарней поднимался дымок. — Вот, например, Лаптевская пекарня. Это ж золотая жила. Вы с хозяйкой знакомы? Можете нас познакомить?

— Она не продаёт, — сказала Люська.

— Все продают, — улыбнулся Станислав. — Вопрос цены.

Люська ничего не ответила. Пошла дальше. Но визитку не выбросила — сунула в сумку. Почтальоны ничего не выбрасывают.

* * *

Дегустация началась в одиннадцать.

На помосте за длинным столом сидели пятеро. Нина Петровна, в праздничном синем костюме, — от администрации. Отец Никодим, девяностотрёхлетний, — «как старейшина и человек, понимающий в просфорах». Пекарь-технолог из Костромского университета, лысый и строгий. Модная девушка-блогер из Ярославля с кольцевой лампой. И в центре — Кривцов. С блокнотом и с бутылкой воды. Без хлеба на тарелке. Хлеб ему приносили по одному — с каждого шатра, — и он отламывал крошечный кусок, нюхал, жевал, сплёвывал в салфетку. И писал в блокнот.

И говорил.

Люська стояла в толпе у помоста. Толпа была большая — человек пятьсот, приезжие и местные вперемешку. Кривцов говорил в микрофон. Негромко. Сухо. И каждое его слово было, как удар ножом.

— Чиабатта, Кострома, — говорил он. — Тесто перекисло. Корка резиновая. Мякиш — как вата из аптечки. Три из десяти.

Бородатые костромичи побелели.

— Сканцы, Вологда. Аутентично. Пшено недоварено. Тесто сухое. Видимо, бабушкин рецепт, бабушка не умела печь. Четыре.

Сёстры в кокошниках переглянулись. Одна заплакала.

— Багет, Петербург. Багет — это французский хлеб. Это — не багет. Это питерская попытка изобразить Францию, как питерская архитектура пытается изобразить Италию. Пять — за попытку.

Люська сжимала кулаки.

— Эчпочмак, Казань. Это не хлеб. Это пирог. На хлебный фестиваль привезли пирог. Ноль.

Ринат Хабибуллин в толпе развёл руками и засмеялся — громко, весело, без обиды. Гульнара шлёпнула его по плечу.

— «Бородинский», хлебозавод «Галичанка», — сказал Кривцов.

Пауза.

Люська повернула голову. Липатова стояла в толпе — в первом ряду, прямо у помоста. Сложив руки на груди. Не мигая.

Кривцов отломил кусок. Понюхал. Пожевал. Медленно. Долго.

Потом поднял глаза. И посмотрел прямо на Липатову. Люська видела — он её узнал. Конечно, узнал.

— Хороший хлеб, — сказал Кривцов.

Над площадью стало тихо.

— Честный, — сказал Кривцов. — Без фокусов. Ржаная закваска — правильная, не химия. Солод настоящий. Кориандр — свежемолотый, а не порошок из пакета. Мякиш плотный, но не сырой. Корка — как надо. — Он помолчал. — Восемь из десяти. Лучший результат дня.

Липатова не шевельнулась. Только лицо у неё стало странное. Растерянное. Люська видела такое лицо однажды — у бабы Шуры из Сопырёва, когда ей после трёх лет молчания позвонил сын из Мурманска.

— Десять лет назад, — сказал Кривцов в микрофон, глядя на Липатову, — я написал, что этим хлебом можно забивать гвозди. Я был неправ. Тогда — тоже. Но это не значит, что сейчас вы не заслужили восемь.

И отложил кусок.

Липатова развернулась и ушла из толпы. Быстро. Не оглядываясь. Люська смотрела ей вслед и не понимала, что сейчас произошло. Это было извинение? Или новый удар? Или что-то третье?

* * *

Последним принесли Варин хлеб.

Вне конкурса. Просто — чтобы жюри попробовало. Так было записано в программе. Варя сама вынесла его на помост: круглый ржаной каравай, тёмный, с трещинкой крестом, с оттиском печати на боку — колос, сноп и две буквы, «С.Л.». Положила на стол перед Кривцовым. На деревянную доску. Рядом — нож.

Отошла на шаг.

Кривцов посмотрел на каравай. Долго.

Потом отодвинул доску.

— Я не буду это пробовать, — сказал он в микрофон.

По толпе прошёл шум.

— Хлеб хозяйки праздника — вне конкурса, — сказал Кривцов. — Я его оценивать не обязан. По регламенту. — Он посмотрел на Нину Петровну. — Верно?

Нина Петровна открыла рот. Закрыла. Посмотрела на бумагу перед собой. Посмотрела на отца Никодима.

Отец Никодим, сидевший рядом с Кривцовым, медленно протянул руку. Взял нож. Старческими, сухими, но удивительно твёрдыми пальцами отрезал от каравая горбушку. Тонкую, хрустящую. Положил на доску. Пододвинул обратно к Кривцову.

— Попробуй, сынок, — сказал отец Никодим. Тихо. Не в микрофон — но микрофон стоял близко и поймал. — Попробуй. Не для оценки. Для себя.

Кривцов смотрел на старика. Долго.

Потом на горбушку.

Люська в толпе затаила дыхание. Вся площадь затаила дыхание.

Кривцов медленно взял горбушку. Повертел в пальцах. Поднёс к лицу. Понюхал. Люська видела, как у него дрогнули ноздри. Как он закрыл глаза.

И откусил.

Жевал он долго. Люська потом говорила, что минуту — Денис с Затонной, который снимал всё на телефон, утверждал, что сорок три секунды. Кривцов сидел с закрытыми глазами и жевал. И лицо у него менялось. Люська видела. Каменное — становилось не каменным. Скулы — мягче. Складка между бровями — разглаживалась. Губы дрогнули. Как будто он хотел что-то сказать. Или заплакать. Или засмеяться.

Потом он проглотил.

Открыл глаза.

И Люська увидела в них то, что видела вчера в пекарне, когда Батон сказал «Здравствуй, Эдька». Страх. Самый настоящий. Детский.

Кривцов встал. Резко. Стул опрокинулся.

— Хлеб как хлеб, — сказал он в микрофон. Голос сорвался. — Ржаной. Ничего особенного. Прошу прощения. Мне нужно… Дегустация на сегодня окончена.

И ушёл с помоста. Через толпу. Люди расступались. Он шёл, не глядя ни на кого, с горбушкой в руке — не выбросил, так и нёс, сжав в кулаке, — и скрылся за торговыми рядами.

Варя стояла у помоста. Белая.

Отец Никодим смотрел ему вслед. И тихонько, почти незаметно, перекрестил его спину.

* * *

Вечером Люська сидела в отделении одна. Разбирала завтрашнюю почту. Фестивальную — её было столько, что пришлось взять у Нины Петровны в помощь двух школьниц-волонтёрок, но волонтёрки ушли в шесть, а Люська осталась.

Она сортировала конверты по улицам, но думала не о конвертах.

«Здравствуй, Эдька».

«Здесь раньше поворот был. На Сосновку».

«Хлеб как хлеб».

Детдом в Сосновке. Закрыли в две тысячи четвёртом. Люське тогда было пять лет, она его не помнила. Но помнила, что мама рассказывала — там жили дети, человек шестьдесят, и раз в неделю их возили в Чухлому, в баню и в магазин. И что они ходили строем. И что их было жалко.

И ещё что-то.

Люська остановилась с конвертом в руке.

Ещё что-то. Про посылки.

Она медленно положила конверт на стол. Подошла к шкафу у стены — старому, фанерному, где хранились журналы регистрации отправлений. Бумажные. Электронную систему ввели только пять лет назад, а до этого всё писали от руки. Люська открыла шкаф. Достала журнал. Потом ещё один. И ещё.

Она искала долго. Пыль летела в нос, она чихала. Журналы были тяжёлые, страницы пожелтевшие, почерки разные — Люськин, её предшественницы Анны Ивановны, предшественницы Анны Ивановны, которую Люська не застала.

И нашла.

«17 декабря. Посылка. Отправитель: Ерохина Г.Ф., Чухлома, ул. Советская, 12. Получатель: Кривцову Э.А., Москва, Главпочтамт, до востребования. Вес 3,2 кг».

Люська перевернула страницу. Ещё год. Ещё журнал.

«15 декабря. Посылка. Ерохина Г.Ф. — Кривцову Э.А., Москва, до востребования. 2,9 кг».

«19 декабря. Посылка. Ерохина Г.Ф. — Кривцову Э.А. 3,5 кг».

«16 декабря…»

Каждый год. В середине декабря. Перед Новым годом. От Ерохиной Г.Ф. — то есть от тёти Гали, тётя Галя же до весны была Ерохина, по Кольке, — Кривцову Э.А. До востребования. Люська листала журналы, и записи шли и шли, год за годом, одним и тем же почерком в графе «отправитель», — тётя Галя сама заполняла бланки, Люська узнала её круглые крупные буквы. Двадцать лет. Двадцать пять. Тридцать. Дальше журналов не было — старые сдали в архив.

А в прошлом декабре — запись Люськиной рукой. Она сама принимала. Сама взвешивала. Тётя Галя пришла с посылкой, коробкой, перевязанной бечёвкой, — и Люська, кажется, даже спросила тогда: «Кому это, тёть Галь?» А тётя Галя сказала: «Да так. Одному мальчику». И Люська подумала — внуку подруги какой-нибудь. И забыла.

Люська сидела на полу у шкафа, среди раскрытых журналов. Над головой гудела лампа дневного света.

Тридцать лет. Каждый декабрь. Три килограмма.

«Одному мальчику».

* * *

Домой Люська ехала в половине двенадцатого. На Буцефале. По Советской.

Площадь была пустая, шатры закрыты, флажки над улицей тихо шелестели. Фонари горели жёлтым. Пахло остывающим асфальтом, скошенной травой и озером — оно было близко, за домами, и в тёплые августовские ночи его запах доносился до самой Советской.

Люська проехала мимо пекарни. В подвальных окнах горел свет — Варя ставила тесто на завтра.

Проехала мимо бывшего тётиного-Галиного гостевого дома. Теперь там жили Виталик с невестой, Соней-айтишницей, и держали шесть комнат для гостей. Все шесть сейчас были заняты: фестиваль.

На втором этаже, в угловой комнате, — той, что с видом на озеро, — горел свет. Окно было открыто. И в окне, на фоне жёлтого света, стоял человек. Худой, высокий, седой. Стоял, опершись руками о подоконник, и смотрел на озеро. Не двигаясь.

Люська притормозила. Поставила ногу на землю.

Кривцов её не видел. Он смотрел на озеро. Туда, где за крышами, за деревьями, в темноте, лежала огромная чёрная вода, а на том берегу — едва угадывались белые стены монастыря.

Люська постояла. Потом медленно поехала дальше.

И уже у поворота на Калинина вспомнила — или, вернее, мозг сам выложил ей перед глазами, как выкладывают на стол рассортированные письма, — ещё одну деталь. Мелкую. Ерундовую. Которую она видела часа полтора назад, когда выбегала из отделения к ларьку за водой, и на которую тогда не обратила никакого внимания.

Около десяти вечера из задней калитки бывшего гостевого дома вышла тётя Галя. Маленькая, круглая, в тёмном платке. С корзинкой в руке. С пустой — Люська видела, корзинка болталась легко, не оттягивала руку.

Тётя Галя теперь жила у Пахома, на краю города, у озера. Гостевой дом она отдала Виталику ещё весной. Что ей было делать там в десять вечера? С пустой корзинкой?

Люська остановила Буцефал посреди улицы.

Подумала.

Потом пожала плечами. Мало ли. Может, Виталику пироги носила. Может, Соне банку огурцов. Тётя Галя — она такая.

И поехала домой.

А утром, в семь сорок, на Советской закричала Соня.

Глава 3. Каравай на подушке

Когда Люська подлетела на Буцефале к бывшему гостевому дому, у крыльца уже стояло человек пятнадцать. Соседи в халатах. Двое пекарей из Костромы с недоеденными бутербродами. Сёстры Кукушкины — они жили через три дома и прибежали первыми, обе в одинаковых бигуди. И Колька Ерохин, который жил у Кукушкиных уже полгода и до сих пор не научился их различать.

— Что? — выдохнула Люська, бросая велосипед у забора. — Что случилось?

— Пропал! — сказала Зоя Кукушкина.

— Москвич! — сказала Тоня Кукушкина.

— Критик этот!

— Ночью!

— Из запертой комнаты!

— Как в кино!

Люська протолкнулась на крыльцо. В сенях сидела на табуретке Соня — Виталикова невеста, маленькая, коротко стриженная, в очках, в футболке с надписью «Hello, World». Она держала в руках поднос, на котором стояли чашка кофе, тарелка с сырниками и вазочка с вареньем, и смотрела в одну точку. Поднос мелко дрожал.

— Сонь, — сказала Люська. — Сонь, ты как?

— Он завтрак заказал, — сказала Соня. Механически. Как робот. — На семь тридцать. Кофе чёрный, без сахара. Сырники без сметаны. Без хлеба. Я принесла. Постучала. Не открывает. Постучала ещё. Не открывает. Посмотрела в замочную скважину. А там ключ. Изнутри торчит. — Она подняла на Люську огромные за стёклами очков глаза. — Изнутри, Люсь. Понимаешь? Заперто изнутри. А его — нет.

* * *

Дверь Виталик выбил плечом. Люська поднялась на второй этаж как раз тогда, когда он, потирая плечо, стоял на пороге угловой комнаты и не решался войти.

— Не заходи, — сказала Люська. — Следы затопчешь.

Виталик посмотрел на неё с уважением. Отступил.

Люська встала на пороге. И посмотрела.

Комната была небольшая. Тётя Галя её всегда называла «озёрной» и отдавала самым дорогим гостям — из окна было видно и озеро, и монастырь на том берегу. Кровать — широкая, деревянная, с резной спинкой, застеленная белым льняным покрывалом. Нетронутым. Ни складки. На кровати никто не спал.

Тумбочка. На тумбочке — телефон, дорогой, в чёрном кожаном чехле. Очки для чтения, сложенные. Бумажник. Паспорт. Часы — швейцарские, на кожаном ремешке. Всё аккуратно, рядком, как раскладывает человек, который собирается ненадолго выйти.

Стол у окна. На столе — ноутбук, закрытый. Бутылка воды, наполовину пустая. Ручка. И — Люська прищурилась — рядом с ручкой лежал тёмный неровный кусочек. Корочка. От горбушки. Сухая, обгрызенная по краям. Та самая, догадалась Люська, — с дегустации. Он унёс её с собой, сжав в кулаке, через всю площадь. И положил на стол.

Шкаф — приоткрыт. Внутри — два костюма на вешалках. Светлого льняного пиджака не было. Туфель у двери — тоже не было.

Окно было распахнуто настежь. Белая льняная занавеска медленно колыхалась от утреннего ветерка с озера.

А на подушке, посередине, на белой наволочке, лежал каравай.

Ржаной. Круглый. Тёмный. С трещинкой крестом. С оттиском печати на боку — колос, сноп и две буквы. «С.Л.».

Нетронутый. Целый. Ни одного куска не отломлено.

Люська смотрела на каравай. И у неё по спине пробежал холодок.

— Варин, — сказал Виталик у неё за спиной. Шёпотом. — Это ж Варин хлеб.

— Вижу, — сказала Люська.

* * *

Участковый, Михалыч, пришёл через двадцать минут. Ему было шестьдесят два года, до пенсии оставалось три месяца, и больше всего на свете он хотел, чтобы за эти три месяца в Чухломе ничего не случилось. Он посмотрел на комнату. На каравай на подушке. На открытое окно. Сказал: «Твою ж налево». И позвонил в Галич.

Из Галича приехали к полудню.

Люська к этому времени уже обошла дом снаружи. Окно «озёрной» комнаты выходило на задний двор. Под окном — крыша крыльца, пологая, железная, крашенная зелёным. От крыши до земли — водосточная труба. Старая, прочная, на железных скобах. Люська посмотрела на трубу. Потом на крышу. Потом на клумбу под трубой.

Клумба была с астрами. Тётя Галя посадила их ещё в мае, перед переездом к Пахому. И две астры у самой трубы были сломаны. Примяты. А в мягкой земле между ними — отпечаток. Подошва. Узкая, длинная, с мелким рисунком.

Люська присела на корточки. Посмотрела. Не стала трогать.

Потом посмотрела на калитку в заборе. Задняя калитка — та самая, из которой вчера в десять вечера вышла тётя Галя с пустой корзинкой. Калитка выходила на тропинку. А тропинка — Люська знала её с детства — вела мимо огородов, мимо бань, вниз, к озеру. К старым мосткам.

Люська постояла. Подумала.

И тут за спиной у неё кто-то сказал:

— Гражданка. Отойдите от клумбы.

* * *

Он был высокий. Это Люська заметила первым. Выше неё на две головы, а она была не маленькая. Лет тридцати с небольшим. Тёмные волосы, коротко стриженные. Небритый — щетина дня на три, не модная, а просто — некогда было. Лицо серьёзное, усталое, с острыми скулами и с тёмными кругами под глазами. Глаза — серые. Внимательные. Неприятно внимательные. В джинсах, в серой футболке и в тёмной ветровке, на которой не было никаких знаков отличия. Только удостоверение на шнурке на шее.

— Старший лейтенант Шубин, — сказал он. — Отдел полиции Галичского района. Вы кто?

— Рыжова, — сказала Люська. Поднялась с корточек. — Людмила. Почтальон.

— Почтальон, — повторил старший лейтенант Шубин. Без выражения. — Почта у нас теперь на клумбах работает?

— Тут след, — сказала Люська. — Под трубой. Он по трубе спустился. Из окна. На крышу крыльца, потом по трубе, потом — через клумбу, астры сломал. А потом — в калитку. Калитка на тропинку. Тропинка к озеру.

Шубин посмотрел на клумбу. На след. На трубу. На калитку. Лицо у него не изменилось.

— Спасибо, — сказал он. — Мы разберёмся. Отойдите, пожалуйста. Вы мешаете работать.

— Я не мешаю, я помогаю. Я тут всё знаю. Я всех знаю. Я…

— Гражданка Рыжова. — Шубин посмотрел на неё сверху вниз. Серыми глазами. — Вы почтальон. Вот и разносите почту. А следствие оставьте следствию.

Люська открыла рот. Закрыла. Почувствовала, как краснеют уши — у неё всегда сначала краснели уши, потом щёки, потом шея, это было ужасно, рыжие не умеют краснеть незаметно.

— Ну и пожалуйста, — сказала она. — Ну и разбирайтесь.

И ушла. Гордо. Через калитку на улицу. Взяла Буцефала у забора. Села.

И не поехала. Осталась стоять у забора. Слушать.

* * *

К двум часам дня Шубин опросил всех.

Виталика. Соню. Других постояльцев — костромских бородачей, петербуржскую пару в очках, двух пожилых сестёр из Вологды. Кукушкиных — те пытались давать показания одновременно, и Шубин через пять минут попросил их говорить по очереди, на что Кукушкины обиделись и замолчали обе. Михалыча.

И Варю.

Варю вызвали в гостевой дом. Шубин разговаривал с ней в столовой, при закрытых дверях. Люська стояла под окном столовой, сделав вид, что поправляет цепь на велосипеде. Окно было закрыто. Но форточка — нет.

— Ваш хлеб? — спрашивал Шубин.

— Мой, — отвечала Варя. Голос у неё был ровный, но Люська, знавшая Варю четыре года, слышала, как он натянут.

— Как он оказался на подушке у пропавшего?

— Не знаю.

— Вы были в доме вчера вечером?

— Нет. Я весь вечер была в пекарне. С десяти — в подвале. Ставила тесто.

— Кто может подтвердить?

— Муж. Матвей. И… — Варя запнулась. — И кот.

Пауза.

— Кот, — повторил Шубин.

— У нас говорящий кот, — сказала Варя устало. — Вы, наверное, слышали.

— Слышал, — сказал Шубин. Сухо. — Показания кота к делу не приложишь. Варвара Андреевна. Свидетели утверждают, что позавчера вечером пропавший пришёл в вашу пекарню и в присутствии нескольких человек пообещал написать о ней разгромную статью. Что он назвал пекарню «декорацией». Что он сказал, что после его статьи к вам перестанут ездить. Это так?

— Так.

— А вчера на дегустации он отказался пробовать ваш хлеб. Публично. При пятистах свидетелях. Потом всё-таки попробовал — и назвал его «хлеб как хлеб». Тоже публично. И ушёл.

— Да.

— И утром ваш хлеб лежит у него на подушке. А его самого — нет.

Варя молчала.

— Вы понимаете, как это выглядит? — спросил Шубин.

— Понимаю, — сказала Варя.

Люська под окном сжала руль Буцефала так, что побелели костяшки.

* * *

Батона она привезла в велосипедной корзинке.

Это была её идея. Она приехала в пекарню в три часа дня, когда Варю отпустили — пока, — и Варя сидела в конторе, бледная, с Саввой на коленях, и молчала, а Матвей ходил вокруг неё кругами и не знал, что делать. Люська вошла в зал. Подошла к прилавку. Посмотрела на Батона.

— Батон, — сказала она. — Мне нужен твой нос.

Батон открыл один глаз.

— Зачем?

— Там, в комнате. Хлеб на подушке. Варин. Шубин этот галичский думает, что Варя положила. А Варя не клала. Я знаю. Но доказать не могу. — Люська помолчала. — А ты можешь. Ты ж по запаху всё чуешь. Кто трогал. Кто приходил.

Батон смотрел на неё. Долго.

— Я сто двадцать три года из пекарни выхожу три раза в год, — сказал он. — По праздникам. В корзинке. А ты хочешь, чтоб я поехал на место преступления? На велосипеде?

— Хочу, — сказала Люська.

— Сносно! — сказал Сухарик, вскакивая. — Батон! На велосипеде! Я никогда не ездил на велосипеде! Я тоже поеду! Можно я тоже поеду? Я тоже умею нюхать! Я очень хорошо нюхаю! Я вчера нашёл мышь в мешке с отрубями! Помнишь? По запаху!

— Это была не мышь, — сказал Батон. — Это был Матвеев носок.

— Но я же нашёл!

Батон вздохнул. Тяжело. Как вздыхают старики, которых поднимают с дивана.

— Ладно, — сказал он. — Корзинку постели. Мягко. И не гони. У меня от тряски живот болит.

* * *

Через полчаса по Советской ехала Люська Рыжова на велосипеде Буцефал. В передней плетёной корзинке, на сложенном льняном полотенце, сидел огромный рыжий кот с голубым бантом на шее. С выражением на морде, которое лучше всего описывалось словами «я выше всего этого». А на багажнике, вцепившись когтями в Люськину сумку, ехал дымчатый подросток с огромными ушами и вопил:

— Быстрее! Люська! Быстрее! Ветер! В уши! Батон, ты чувствуешь ветер? Это ветер! Он в уши дует! Батон! Батон, посмотри, корова! Это корова? Она большая! Она больше Барсихи! Батон, почему корова такая большая?

— Сухарик.

— Что?

— Помолчи.

Туристы на Советской доставали телефоны и снимали. Кто-то засмеялся. Кто-то закричал: «Смотри, смотри, это тот кот! Который говорит!» Люська крутила педали и делала вид, что не замечает.

У гостевого дома стояла полицейская машина. Белая, с синей полосой. Шубин курил у крыльца, разговаривая по телефону.

Люська остановила Буцефал у калитки. Сняла Батона из корзинки — он весил, как мешок картошки, — и понесла к крыльцу. Сухарик спрыгнул с багажника и побежал следом.

Шубин увидел их. Опустил телефон.

— Гражданка Рыжова, — сказал он. Медленно. — Это что?

— Это Батон, — сказала Люська. — Он понюхает.

— Что он понюхает?

— Хлеб. На подушке. Кто его принёс.

Шубин смотрел на неё. На кота у неё на руках. На второго кота у её ног.

— Вы что, — сказал он, — кота на место происшествия привели?

Батон повернул голову. Посмотрел на Шубина. Янтарными глазами. Сверху вниз — хотя был внизу.

— Сам ты кот, — сказал Батон.

Шубин уронил сигарету.

* * *

В «озёрную» комнату их всё-таки пустили. Не сразу — сначала Шубин минут пять стоял, глядя на Батона, потом позвонил кому-то и спросил: «Слушай, а в Чухломе правда кот говорит? Не прикол?» Ему, видимо, ответили, что не прикол. Он положил трубку. Посмотрел на Люську.

— Пять минут, — сказал он. — Ничего не трогать. Я рядом.

Люська поставила Батона на пол у кровати.

Батон постоял. Огляделся. Потом медленно, неуклюже, подтягиваясь на передних лапах, забрался на кровать. Подошёл к подушке. К караваю.

Понюхал.

Долго. Обстоятельно. Со всех сторон. Корку. Трещинку-крест. Печать на боку. Потом — подушку вокруг каравая. Потом — покрывало.

Шубин стоял в дверях, сложив руки на груди. Смотрел. На лице — смесь недоверия, раздражения и чего-то ещё, похожего на детское любопытство, которое он изо всех сил пытался спрятать.

Батон закончил. Сел. Обвил лапы хвостом.

— Хлеб Варин, — сказал он. — Это точно. Вчерашний, утренний выпечки. Из третьей партии. А принесла не Варя.

— Кто? — спросила Люська. Хотя уже знала.

— Галька, — сказал Батон. — Пирогами с капустой пахнет. Пахомовой рыбой. Ландышевым мылом — ей Ася дарила на свадьбу. И корзинкой. Берестяной. — Он посмотрел на Люську. — Она его в корзинке несла. Под полотенцем. А потом положила. Сюда. Сама.

Шубин в дверях медленно опустил руки.

— Кто такая Галька? — спросил он.

— Галина Фёдоровна Яковлева, — сказала Люська. — Бывшая хозяйка этого дома. Бывшая Ерохина. — Она помолчала. — Она вчера вечером отсюда выходила. В десять. С пустой корзинкой. Я видела.

Шубин посмотрел на неё. Долго. Серыми глазами.

— И вы мне это говорите только сейчас?

— А вы меня слушали? — сказала Люська. — «Разносите почту»?

Шубин открыл рот. Закрыл.

Батон между тем слез с кровати. Подошёл к окну. Встал на задние лапы, передние положил на подоконник. Понюхал подоконник. Раму. Занавеску.

— А ушёл он сам, — сказал Батон. — Через окно. Никто его не тащил. Один был. Страхом пахнет. Сильно. И хлебом. Горбушкой. Варей. Он хлеб нюхал перед тем, как уйти. Хлеб на подушке. Наклонился и нюхал. Слёзы на наволочке. Солёные. Вон там. Видишь пятно?

Люська посмотрела. На белой наволочке, у самого края каравая, было маленькое пятнышко. Серое. Высохшее. Почти незаметное.

Шубин тоже посмотрел.

— А потом ушёл, — сказал Батон. — Окном. По трубе. Как мальчишка. — Он опустился на все четыре лапы. — Они все по трубе уходили. Из Сосновки. Когда сбегали. Я помню.

— Из какой Сосновки? — резко спросил Шубин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.